

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Это было в те дни, когда я бродил голодный по Христиании, этому удивительному городу, который навсегда накладывает на человека свою печать...

Я лежу без сна у себя на чердаке и слышу, как часы внизу бьют шесть; уже совсем рассвело, началась беготня вверх и вниз по лестнице. У двери стена моей комнаты оклеена старыми номерами «Утренней газеты», и я четко вижу объявление смотрителя маяка, а чуть левее — жирную, огромную рекламу булочника Фабиана Ольсена, расхваливающую свежеиспеченный хлеб.

Едва открыв глаза, я по старой привычке начал подумывать, чему бы мне порадоваться сегодня. В последнее время жилось мне довольно трудно; мои пожитки помаленьку перекочевали к «Дядюшке Живодеру», я стал нервен и раздражителен, несколько дней мне

пришлось даже пролежать в постели из-за головокращения. Временами, когда везло, мне удавалось получить пять крон за статейку в какой-нибудь газете.

Становилось все светлей, и я принялся читать объявления у двери; я даже мог разобрать тощие, похожие на оскаленные зубы буквы, которые возвещали, что «у йомфру Андерсен, в подворотне направо, можно приобрести самый лучший саван». Это объявление долго занимало меня, и когда я, встав, начал одеваться, часы внизу пробили восемь.

Я открыл окно и выглянул во двор. Мне видна была веревка для сушки белья и пустырь; в отдалении чернел скелет сгоревшей кузницы, где возились какие-то люди, разгребая угли. Я облокотился о подоконник и смотрел вдаль. Без сомнения, день будет ясный. Пришла осень, дивная, прохладная пора, все меняет цвет, увядает. На улицах уже поднялся шум, он манит меня выйти из дому; пустая комната, где половицы стонали от каждого моего шага, походила на трухлявый, отвратительный гроб; здесь не было ни порядочного замка на двери, ни печки; по ночам я обыкновенно клал носки под себя, чтобы они хоть немного высохли к утру. Единственным моим утеше-

нием была маленькая красная качалка, в которой я сидел вечерами, подремывал и думал о всякой всячине. Когда поднимался сильный ветер и входная дверь внизу бывала открыта, пол и стены пронзительно стонали на все лады, а в «Утренней газете» у двери появлялись щели длиною с мою руку.

Я отошел от окна и принялся искать в узелке, что лежал в углу, подле кровати, чем бы позавтракать, но ничего не нашел и снова вернулся к окну.

«Бог весть, — думал я, — удастся ли мне вообще приискать себе занятие!» Столько было отказов, полуобещаний, решительных «нет», взлелеянных и обманутых надежд, новых и новых попыток, которые всякий раз кончались ничем, что я совсем утратил решимость. Наконец я попытался поступить в кассиры, но опоздал; и, кроме того, я не мог бы внести залога в пятьдесят крон. Вечно мне что-либо мешало. А еще я просился в пожарную команду. Нас там стояло с полсотни человек, и каждый выпячивал грудь, чтобы произвести впечатление силача и редкого смельчака. Меж нами расхаживал наниматель, осматривал претендентов, щупал мускулы, расспрашивал, а проходя мимо меня, только головой покачал

да обронил, что люди в очках для этого дела не годятся. Я пришел снова уже без очков и стоял, насупившись, стараясь придать своему взгляду остроту ножа, но он снова прошел мимо меня и только улыбнулся, потому что узнал меня. В довершение всех зол мое платье изнашивалось до такой степени, что я уже не казался работодателям приличным человеком.

Как медленно и неуклонно катился я под гору! Под конец у меня не осталось решительно ничего, даже гребенки или хотя бы книжки, которой я утешился бы в грустную минуту. Летом я всякий день уходил куда-нибудь на кладбище или в парк, где стоит замок, сидел там и писал статьи для газет, столбец за столбцом, и чего только не было в этих статьях, сколько удивительных выдумок, причуд, капризов моей беспокойной фантазии! Отчаявшись, я брал самые отвлеченные темы, эти статьи я сочинял много мучительных часов, и никто не хотел их печатать. Закончив одну, я тотчас принимался за другую и редко приходил в уныние от редакторского отказа. Я старался убедить себя, что когда-нибудь мне повезет. И действительно, по временам, когда счастье мне улыбалось и я сочинял что-нибудь путное, мне платили пять крон за работу, которая отнимала полдня.

Я снова оторвался от окна, подошел к умывальнику и смочил водой колени своих лоснившихся брюк, чтобы они казались черными и стали как будто новее. Сделав это, я, по обыкновению, сунул в карман бумагу и карандаш и вышел за дверь. По лестнице я спустился тихонько, чтобы не привлечь внимания хозяйки; срок уплаты за квартиру истек несколько дней назад, а платить мне было нечем.

Пробило девять часов. Грохот экипажей и людские голоса витали в воздухе — то был стоустый утренний хор, раздававшийся под стук шагов пешеходов и щелканье извозчичьих кнутов. Это шумное движение тотчас оживило меня, и я стал чувствовать себя уверенней. Менее всего я собирался просто вот так гулять с утра на свежем воздухе. На что был моим легким воздух? Я чувствовал себя неодолимым, как исполин, мог упереться плечом в повозку и остановить ее. Мной овладело удивительное, чудесное чувство, какое-то светлое удовлетворение. Я смотрел на встречных, читал вывески на домах, ловил на лету взгляды, брошенные на меня из проносившихся мимо карет, замечал всякую мелочь, не упускал ни малейшей случайности, что попадалась мне на пути и сразу же исчезала.

Какой дивный денек, вот бы еще поесть хоть немного! Я проникся этим радостным утром, счастье переполняло меня, и я вдруг ни с того ни с сего принялся напевать. Возле мясной лавки стояла женщина с корзинкой и выбирала колбасу к обеду; когда я проходил мимо, она взглянула на меня. Из рта у нее торчал лишь один зуб. В последние дни я стал таким нервным и впечатлительным, что лицо этой женщины показалось мне отвратительным; длинный, желтый зуб походил на мизинец, торчащий изо рта, а когда она подняла на меня глаза, взгляд ее еще был полон мыслей о колбасе. Мне сразу расхотелось есть, тошнота подкатила к горлу. Дойдя до рынка, я напился воды из-под крана; потом поднял голову и взглянул на колокольню храма Спасителя — часы показывали десять.

Я долго еще бродил по городу ни о чем не думая, потом безо всякой надобности постоял на каком-то углу и свернул на боковую улицу, хотя у меня не было там никакого дела. Я плыл по течению, купался в радостном утре, беззаботно расхаживал среди других веселых людей; воздух был чист и ясен, душу мою не омрачало ничто.

Минут десять впереди меня шел хромой старик. В одной руке он нес узел, и все тело

его напрягалось от усилий ускорить шаг. Я слышал, как тяжело он дышал, и подумал, что мог бы понести его узел; однако я не попытался догнать его. Близ Гренсена я встретил Ханса Паули, он поклонился и быстро прошел мимо. Почему он так спешил? Ведь я и не думал выпрашивать у него крону, я даже хотел при первой возможности вернуть ему одеяло, которое взял у него несколько недель назад. Как только я мало-мальски выкарабкаюсь, никто не сможет сказать, что я не отдал одеяла; пожалуй, еще сегодня начну писать статью о роли преступлений в будущем, или о свободе воли, или вообще о чем-нибудь важном и получу за нее по меньшей мере десять крон... Я вдруг почувствовал потребность немедленно приняться за дело, потому что мысли переполняли меня; я решил отыскать подходящее местечко в парке и даже не помышлять об отдыхе, пока статья не будет кончена.

Но старый калека все так же шел впереди меня, уродливо напрягаясь на ходу. В конце концов меня стало раздражать, что старик все время идет передо мною. Казалось, этому не будет конца; может быть, он шел как раз туда же, куда и я, а если так, он все время будет

маячить у меня перед глазами. Я так разволновался, что мне казалось, будто на каждом перекрестке он замедляет шаг и как бы ждет, куда я поверну, а потом он вскидывал свой узел повыше и прибавлял шагу, чтобы опередить меня. Я иду, всматриваюсь в этого несчастного калеку и проникаюсь все большим и большим ожесточением против него; я чувствую, как он мало-помалу портит мое радостное настроение и вместе с тем как бы омрачает чистое, прекрасное утро своим уродством. Он был похож на огромное искалеченное насекомое, которое упорно и настойчиво стремится куда-то и занимает собою весь тротуар. Когда мы поднялись на холм, я не пожелал больше терпеть это и остановился у витрины, дожидаясь, покуда он уйдет. Когда через несколько минут я двинулся дальше, этот человек снова оказался впереди меня — он тоже останавливался. Недолго думая, я в три-четыре больших шага настиг его и хлопнул по плечу.

Он остановился как вкопанный. Мы пристально посмотрели друг на друга.

— Подайте, сколько можете, на молоко! — сказал он наконец и склонил голову набок.

Ну вот, в хорошенькое я попал положение! Я пошарил в карманах и сказал:

— Ах, на молоко... Гм!.. Но ведь в наше время деньги на улице не валяются, а я не знаю, крайняя ли у вас нужда.

— Я не ел со вчерашнего дня, как ушел из Драммена, — сказал он. — У меня нет ни эре, и я еще не нашел работы.

— Вы ремесленник?

— Да, я скорняк.

— Как?

— Скорняк. Впрочем, умею еще шить сапоги.

— Это меняет дело, — сказал я. — Погодите-ка здесь минутку, а я сбегая за деньгами и дам вам несколько эре.

Я что было духу побежал на Пилестредет, где в одном из домов, на втором этаже, жил ростовщик; впрочем, мне еще не приходилось у него бывать. Войдя в подворотню, я быстро снял жилет, свернул его и сунул под мышку; потом поднялся по лестнице и постучал в дверь. Войдя, я поклонился и бросил жилет на прилавок.

— Полторы кроны, — сказал ростовщик.

— Хорошо, благодарю вас, — отвечал я. — Не будь он для меня слишком узок, я, конечно, не расстался бы с ним.

Взяв деньги и квитанцию, я отправился назад. В сущности, это была великолепная мысль — заложить жилет; ведь у меня еще останутся деньги на плотный завтрак, а к вечеру будет готова моя статья о роли преступлений в будущем. Мне сразу стало казаться, что жизнь не так уж мрачна, и я поспешил к старику, чтобы избавиться от него.

— Пожалуйста! — сказал я ему. — Счастлив, что вы первым делом обратились ко мне.

Он взял деньги и начал меня разглядывать. Чего он на меня уставился? Мне показалось, что он особенно пристально смотрит на мои колени, и его бесстыдство меня взбесило. Неужели этот бродяга думает, что, если я так одет, меня можно почитать за нищего? Ведь я уже почти начал писать статью за десять крон. И вообще, будущее мне не страшно, на мою долю хватит. Что тут такого, если в этот ясный день я дал немного денег незнакомому человеку? Его взгляд мне не нравился, и я решил, прежде чем уйти, сделать ему внушение. Я пожал плечами и сказал:

— Любезный, у вас отвратительная привычка тарачить глаза на колени человека, который дал вам целую крону.

Он прислонился к стене, закинул голову и разинул рот. В мозгах этого нищего шевелилась какая-то мысль, он, конечно, подумал, что я хочу как-нибудь над ним посмеяться, и протянул мне деньги обратно.

Я стал топтать ногами и требовать, чтобы он оставил деньги у себя. Уж не думает ли он, что я хлопотал по-пустому? В конце концов, я попросту должен ему эту крону, я вспомнил этот старый долг, а он имеет дело с порядочным человеком, честным до мозга костей. Словом, это его деньги... Ах, не стоит благодарности, я очень рад. До свидания!

И я ушел. Наконец-то этот назойливый калека отвязался от меня, теперь мне никто не помешает. Я снова пошел на Пилестредет и остановился у продуктового магазина. Витрина была завалена съестными припасами, и я решил войти и прихватить чего-нибудь с собой.

— Кусок сыру и французскую булку! — сказал я и бросил на прилавок полкроны.

— Сыру и хлеба на все деньги? — насмешливо спросила продавщица, не глядя на меня.

— Да, на все пятьдесят эре, — невозмутимо ответил я.

Я получил покупку, почтительно поклонился старой толстой продавщице и быстро зашагал к холму, где был парк. Там я отыскал скамейку и с жадностью принялся за еду. Мне сразу полегчало; давно уже не было у меня столь обильной трапезы, и мало-помалу я успокоился, почувствовал облегчение, как бывает, когда выплачешь все слезы. Вскоре я совсем воспрянул духом; теперь мне уже мало было написать статью на такую простую и нехитрую тему, как роль преступлений в будущем, к тому же это всякий мог сам предугадать, стоило просто-напросто заглянуть в историю; я же чувствовал себя способным на гораздо большее свершение, мне хотелось преодолевать необычайные трудности, и я решил написать сочинение в трех частях о философском познании. Разумеется, я не премину разнести в пух и прах некоторые из Кантовых софизмов... Я хотел вынуть письменные принадлежности и приступить к работе, но тут обнаружилось, что у меня нет карандаша, я забыл его в лавочке у ростовщика — ведь карандаш лежал в кармане жилета.

Господи, до чего же мне все-таки не везет! Я выругался несколько раз, встал со скамейки и принялся ходить взад-вперед по дорожкам.

Вокруг было тихо; в отдалении, подле королевской беседки, какие-то няньки катали младенцев в колясках, а больше нигде не было ни души. Я был очень расстроен и как безумный бегал вокруг скамейки. Со всех сторон на меня обрушивались беды! Мне нельзя написать философское сочинение в трех частях лишь потому, что в кармане у меня нет грошового карандаша! А что, если вернуться на Пилестредет и взять карандаш? Тогда я все-таки успею порядочно написать, прежде чем гуляющие хлынут в парк. Ведь от этого сочинения о философском познании зависело так много — как знать, быть может, счастье всего человеческого рода. И я полагал, что оно окажется весьма полезным многим молодым людям. Если поразмыслить хорошенько, то мне вовсе незачем нападать на Канта: этого легко избежать, стоит только чуть-чуть уклониться в сторону, когда речь пойдет о времени и пространстве; зато уж Ренана, этого старого священника, я не пощажу... Но так или иначе, нужно было написать определенное количество столбцов: за квартиру я не заплатил, хозяйка пристально смотрела на меня по утрам, когда я встречал ее на лестнице, и это мучило меня весь день, всплывало даже в самые радостные мгновения, когда ни

одна черная дума не омрачала мою душу. Надо было положить этому конец. Я быстрым шагом покинул парк и отправился к ростовщику за своим карандашом.

Спустившись с холма, я обогнал двух дам. По нечаянности я задел одну рукавом, взглянул на нее и увидел полное, слегка бледное лицо. Вдруг она вся вспыхнула, похорошела, не знаю отчего, быть может, от слова, которое сказал ей прохожий, а быть может, лишь от тайной мысли. Или же оттого, что я коснулся ее руки? Ее высокая грудь бурно вздымается, и она крепко сжимает ручку зонтика. Что это с ней?

Я остановился и снова пропустил ее вперед, мне невозможно было идти дальше, все это показалось мне таким странным. Я был раздосадован, сердился на себя за историю с карандашом, и еда, проглоченная после долгой голодовки, меня разгорячила. Мысли мои приняли причудливый ход, я почувствовал, как мною овладевает странное желание напугать эту даму, погнаться за ней и причинить ей какую-нибудь неприятность. Я снова нагоняю ее и прохожу мимо, потом неожиданно поворачиваю назад, чтобы рассмотреть ее, и оказываюсь с нею лицом к лицу. Я стою и смотрю ей

в глаза, а сам тут же придумываю имя, хоть никогда его и не слышал, — имя, скользящее и волнуемое: Илаяли. Она подошла ко мне совсем близко, я вскидываю голову и говорю веско:

— Вы потеряете книгу, фрекен.

Говоря это, я слышал стук своего сердца.

— Книгу? — спрашивает она свою спутницу. И идет дальше.

Но злобное упорство не покидало меня, и я пошел за нею. Конечно, в тот миг я вполне сознавал, что совершаю безумство, но был не в силах преодолеть его; волнение влекло меня вперед, заставляло делать нелепые движения, и я уже не владел собою. Сколько ни твердил я себе, что поступаю как идиот, ничто не помогало, и я корчил за спиной дамы преглупые рожи, а обогнав ее, громко кашлянул. Теперь я медленно шел впереди, держась в нескольких шагах от нее, чувствовал ее взгляд у себя на спине и невольно потупил голову от стыда, что так отвратительно веду себя с нею. Мало-помалу мною овладевает странное ощущение, что я где-то далеко отсюда, во мне рождается смутное чувство, что не я, а кто-то другой идет по этим каменным плитам, потупив голову.

Через несколько минут, когда дама подошла к книжному магазину Паши, я уже стоял у первой витрины, шагнул ей навстречу и повторил:

— Вы потеряете книгу, фрекен.

— Но какую книгу? — спрашивает она в испуге. — О какой он книге говорит?

И она останавливается. Я злорадствую, видя ее смущение, растерянность у нее в глазах восхищает меня. Ей не понять той отчаянности, которая движет мною; у нее нет решительно никакой книги, ни единого листка, но она все-таки ищет в карманах своего платья, смотрит себе на руки, вертит головой, оглядывается назад, напрягает свои нежные мозги, пытаюсь понять, о какой это книге я говорю. Она то краснеет, то бледнеет, на лице ее одно выражение сменяется другим, я слышу, как тяжело она дышит; и даже пуговицы с ее платья смотрят на меня, словно испуганные глаза.

— Не обращай на него внимания, — говорит ее спутница и тянет ее за руку. — Ведь он же пьян! Разве ты не видишь, что этот человек пьян!

Как ни был я в тот миг далек от самого себя, совершенно подчиненный странным и незримым силам, все же ничто вокруг не могло

ускользнуть от моего внимания. Вот большой рыжий пес пересек улицу и побежал к бульвару, а оттуда дальше в сторону Тиволи; на нем узкий мельхиоровый ошейник. Чуть подальше, на этой же улице, открылось окно во втором этаже, оттуда высунулась служанка и, засучив рукава, принялась вытирать снаружи стекла. Ничто не ускользало от моего внимания, я был в ясном уме и твердой памяти, все впечатления пронизывали меня ясно и отчетливо, словно яркая вспышка света. У обеих дам, стоявших передо мною, были синие перья на шляпах и шотландские шелковые шарфы на шее. Мне показалось, что они сестры.

Они отошли прочь, остановились подле музыкальной лавки Сислера и стали разговаривать. Я тоже остановился. Потом обе они повернули назад, пошли тою же дорогою обратно, мимо меня, свернули на Университетскую улицу и направились к площади Святого Улафа. Я все время старался следовать за ними по пятам. Один раз они обернулись, поглядели на меня испуганно и в то же время с любопытством, но они не хмурились, и на лицах их не было сердитого выражения. Они так терпеливо сносили мою назойливость, что я устыдился и опустил глаза. Мне не хотелось больше доку-

чать им, и я с чувством благодарности смотрел им вслед, ожидая, что вот сейчас они войдут куда-нибудь и исчезнут из виду.

У большого четырехэтажного дома под номером два они обернулись еще раз, потом вошли. Я прислоняюсь к газовому фонарю у фонтана и прислушиваюсь к их шагам на лестнице. Шаги замирают во втором этаже. Я отхожу от фонаря, смотрю вверх, на окна. И тут совершается чудо: там, наверху, колыхнутся занавески, потом окно отворается. Оттуда выглядывает голова, и ее чудесные глаза останавливаются на мне. «Илаяли!» — шепчу я и чувствую, что краснею. Почему она никого не кликнула? Почему не сбросила мне на голову цветочный горшок или не послала прогнать меня? Мы не двигаемся и смотрим друг другу в глаза; это длится с минуту; от окна к тротуару несутся мысли, но мы не вымолвили ни слова. Она отворачивается, и это отзывается у меня в душе толчком, едва уловимой дрожью; я вижу ее плечо, потом спину, и она исчезает в комнате. Исчезает медленно, и движение ее плеча словно знак мне; всем своим существом я ощутил этот чудесный привет; и меня захлестнула светлая радость. Постояв немного, я повернулся и пошел по улице.

Я не осмеливался оглянуться назад и не знал, подходила ли она еще раз к окну; раздумывая об этом, я все больше беспокоился и не находил себе места. Быть может, в этот самый миг она наблюдала за каждым моим движением, и мне было невыносимо знать, что за мной следят. Я держался как можно прямее и шел не останавливаясь; ноги подо мной дрожали, походка стала неверной, именно потому, что я хотел идти как можно красивее. Стараясь казаться спокойным и равнодушным, я нелепо размахивал руками, сплевывал и высоко задираю нос; но тщетно. Я все время чувствовал испытующий взгляд у себя за спиной, и по телу моему пробегал холодок. Наконец я скрылся в боковой улочке, откуда направился на Пилестредет, чтобы взять свой карандаш.

Мне не стоило ни малейшего труда получить его обратно. Ростовщик сам принес мне жилет и попросил меня тут же обшарить все карманы; я нашел еще несколько закладных квитанций, сунул их в карман и поблагодарил любезного хозяина за его предупредительность. Он нравился мне все больше и больше, и мне тут же захотелось произвести на него хорошее впечатление. Я сделал несколько шагов к выходу, но опять вернулся к прилавку, словно забыл что-

то; мне казалось, что я обязан объясниться, сообщить ему подробности, и я стал тихонько напевать, чтобы привлечь его внимание. Потом я поднял карандаш, который держал в руке.

— Мне и в голову не пришло бы тащить-ся в такую даль за этим несчастным карандашом, — сказал я, — но тут дело другое, совсем особое дело. Хоть у этого огрызка карандаша и жалкий вид, благодаря ему я стал тем, что я есть, нашел, так сказать, свое место в жизни...

Я умолк. Хозяин подошел к самому прилавку.

— Вот как? — сказал он и с любопытством посмотрел на меня.

— Этим карандашом, — продолжал я невозмутимо, — написано мое трехтомное сочинение о философском познании. Неужели вы не слышали об этом?

И хозяину показалось, что он слышал имя, заглавие.

— Да, — сказал я, — это мое сочинение! Поэтому неудивительно, что я захотел получить назад этот огрызок карандаша: он имеет для меня слишком большую цену, он мне все равно что маленький друг. Я весьма благодарен вам за доброе отношение и не забуду этого;

да, да, в самом деле, не забуду, честное слово, такой уж я человек, а вы этого вполне заслужили. До свиданья!

Я пошел к двери с таким видом, словно мог вершить людские судьбы. Ростовщик дважды вежливо поклонился мне вслед, а я еще раз обернулся и сказал: «До свиданья!»

На лестнице мне встретила женщина с чемоданом. Ввиду моей важности она робко посторонилась передо мной, я же невольно стал шарить в кармане, чтобы дать ей что-нибудь: ничего не найдя, я понурил голову и прошел мимо. Немного погодя я услышал, как она стучится к ростовщику; на дверях у него была стальная решетка, и я тотчас узнал дребезжащий звук, когда ее коснулась человеческая рука.

Солнце светило с юга, было около полудня. Народу на улицах становилось все больше, наступало время гулянья, и толпы людей, раскланиваясь, с улыбками на лицах, словно волны перекатывались по улице Карла-Юхана. Я весь съежился, сжался в комок и проскользнул мимо кучки знакомых, которые стояли неподалеку от университета и глазели на толпу. Потом я побрел на холм, в дворцовый парк, где предался глубоким раздумьям.

Как весело и легко все эти встречные вертят головами, как ясны их мысли, как свободно скользят они по жизни, словно по паркету бальной залы! Ни у кого из них я не прочел в глазах печали, их плечи не отягощает никакое бремя, в безмятежных душах, кажется, нет ни мрачных забот, ни тени тайного страдания. А я бродил среди этих людей, молодой, едва начавший жить и забывший уже, что такое счастье! Эта мысль не покидала меня, и я чувствовал, что стал жертвой чудовищной несправедливости. Почему в последние месяцы мне живется так невыносимо тяжело? Мою неомраченную душу словно подменили, повсюду меня подстерегали горькие разочарования. Стоило мне присесть на скамейку или сделать хоть шаг, как на меня сразу обрушивались какие-то жалкие и ничтожные нелепости, они вторгались в мой внутренний мир, вынуждали понапрасну растрачивать силы. Собака, пробежавшая мимо, желтая роза в петлице у какого-нибудь господина могли пробудить во мне мысли и долгое время занимать меня. Что же со мной случилось? Неужто перст божий коснулся меня? Но почему же меня? Почему не какого-нибудь другого человека, живущего хоть в Южной Америке, уж если на то пошло?

Чем больше я думал, тем непостижимее и непостижимее представлялось мне, что именно я избран своенравным промыслом божьим для его упражнений! И как странно, что во всем мире он отыскал именно меня; есть же книго-торговец Паша и пароходный агент Хеннехен.

Я шел, размышляя об этом, и ничего не мог решить, я находил самые веские возражения против такого произвола со стороны бога, заставляющего меня расплачиваться за грехи всех. Когда я отыскал свободную скамейку и сел, этот вопрос все еще занимал меня и мешал мне думать о другом. С того майского дня, когда начались мои злоключения, я чувствовал, как мною постепенно завладевает слабость, я стал слишком вялым, утратил волю и целенаправленность, словно стая каких-то мелких хищников вселилась в мое тело и грызла его изнутри. А что, если бог попросту решил меня погубить? Я встал и принялся расхаживать подле скамейки.

В этот миг все мое существо было исполнено нестерпимейшего страдания; даже руки мучительно ныли, и я не знал, куда мне их девать. К тому же я недавно так плотно поел, что мне было не по себе, я объелся и, не находя себе места, топтался возле скамейки; люди сколь-

зили мимо меня, появлялись и исчезали как призраки. Наконец на мою скамейку сели двое мужчин, они закурили сигары и стали громко разговаривать; я рассердился и хотел сделать им замечание, но вместо того повернулся и пошел в другой конец парка, где отыскал пустую скамейку. Там я сел.

Мысль о боге снова начала меня одолевать. Я находил, что с его стороны в высшей степени непрослительно вмешиваться всякий раз, как я пытаюсь найти работу, и расстраивать все дело, хотя я просил лишь хлеба насущного. Я определенно заметил, что стоит мне поглотить несколько дней подряд, как мой мозг начинает словно бы вытекать и голова пустеет. Она становится легкой и бесплотной, я больше не чувствую ее у себя на плечах, и мне кажется, что, когда я на кого-нибудь гляжу, глаза мои раскрываются до невероятности широко.

Я сидел на скамейке и думал обо всем этом, все горше сетуя на бога за эти непрерывные мучения. Если он, испытывая меня и воздвигая на моем пути препятствие за препятствием, хочет приблизить меня к себе, очистить мою душу, то смею его заверить, что он ошибается. Я поднял глаза к небу, чуть не плача от негодо-

вания, и раз навсегда высказал ему все, чтобы облегчить душу.

Вспомнилось то, чему меня учили в детстве, в ушах зазвучал негромкий голос, читающий Библию, и я начал разговаривать сам с собою, насмешливо покачивая головой. Зачем беспокоился я о том, что мне есть и пить, во что одеть бренную свою плоть? Разве Отец Небесный не питает меня, как питает птиц, и не оказал мне особой милости, избрав раба своего? Перст божий коснулся нервов моих и потихоньку, едва заметно, тронул их нити. А потом господь вынул перст свой, и вот на нем обрывки нитей и комочки моих нервов. И осталась зияющая дыра от перста его, перста божия, и рана в моем мозгу. Но, коснувшись меня перстом десницы своей, господь покинул меня и не трогал более, и не было мне никакого зла. Он отпустил меня с миром, отпустил с открытой раной. И не было мне никакого зла от бога, ибо он — господь наш во веки веков...

Ветер донес до меня музыку и пение студентов — значит, был уже третий час. Я достал карандаш и бумагу, хотел написать что-нибудь, и вдруг из кармана у меня выпала книжечка с талонами на бритье. Я сосчитал талоны: их оставалось шесть.